



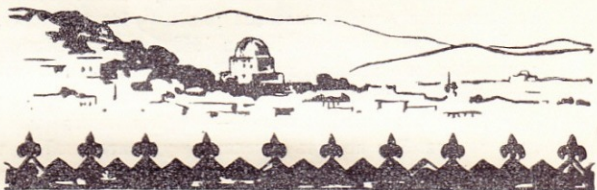
Walla Cerdetab
Dinlo d amll Cecklll
aZellm

P2

С30

Биллал Седетхов

+ Op 87



296949

Динлодамлыкчек

жетим

Издательство
ЦК ВК СМ
«Молодая
Заря» 1959

Тобесиб

Оренбург. областная библиотека

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Уж он-то знал, что такое быть вне закона! Он знал, что такое плен. Он знал, что такое чужбина. Он многое знал, многое понимал по-своему, интересно, мудро, пряча ум и блестящую сообразительность под личиной грубого добродушия.

Он был незаконным сыном графа Алексея Константиновича Разумовского. И фамилию он носил хитрую — Перовский. По тому подмосковному селу, в котором провел детство. Не кончив университета, пятнадцатилетним мальчиком Перовский ушел на войну с Наполеоном, во время Бородинского сражения был ранен и попал в плен к французам. Потом, по прошествии нескольких весьма бурно проведенных лет, он стал адъютантом Николая, тогда еще великого князя.

Друг Жуковского, приятель Пушкина, спаситель Владимира Даля. Именно — спаситель.

«А. Н. Мордвинов, управляющий III отделением Канцелярии Е. В. Александру Христофоровичу Бенкендорфу, шефу жандармов

7 октября 1832 года

...Затем много шуму у нас наделала книжка, пропущенная цензурою, напечатанная и поступившая в продажу — «Русские сказки казака Луганского». Книжка напечатана самым простым слогом, приспособленным для низших классов, для купцов, солдат и прислуги. В ней содержатся насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдат и пр. Я принял на себя смелость показать ее Его Величеству, который приказал арестовать сочинителя, а бумаги его взять для рассмотрения. Я теперь этими бумагами занимаюсь...»

Узнав об аресте Даля, Жуковский поехал к Василию Алексеевичу Перовскому. Тот был только что

назначен исполняющим должность оренбургского военного губернатора. После беседы, состоявшейся между друзьями, Перовский испросил аудиенции у государя, и через несколько часов Даль был освобожден. А еще через несколько дней он уехал вместе с Перовским в Оренбург на должность чиновника для особых поручений при губернаторе. Только Перовский мог себе позволить такое. Арестанта — в чиновники для особых поручений! В столице сплетники многозначительно переглядывались, но мнений своих не высказывали вслух: Перовский был слишком силен.

Приехав в Оренбург, Перовский оказался в обществе людей, которых больше всего интересовал вопрос: где лучшая рыбалка, в Сакмаре или на Урале?

Но Перовский приехал в Оренбург не для того, чтобы отбывать службу. Он приехал для того, чтобы приводить в исполнение свои замыслы — широкие, отважные, интересные, целиком соответствовавшие уму и сердцу их автора.

Осуществлять замыслы без людей, понимающих, что к чему, он не мог. Нужны были люди. Умные, образованные. И — несбыточная мечта — знающие Восток. Хоть немножко, хоть самую малость. Нужны были люди. Люди. Люди. Люди. Перовский искал людей.

2

Несколько раз как в беседах с высшими сановниками России, так и с выдающимися учеными и писателями Александр Гумбольдт говорил о том, что в оренбургских степях под солдатской шинелью скрывается замечательный ученый-востоковед, знаток языков, истории и литератур азиатских. Неизвестно какими путями, но весть эта дошла до Владимира Даля, а от него до Перовского. Заинтересовавшись, Перовский вызвал к себе жандармского полковника Маслова. Тот ничего не знал о теме предстоящего разговора и поэтому струсил: говорили, что губернатор недолго любил жандармов.

Узнав, где губернатор, — Перовский не очень-то сидел на месте, — Маслов отправился в летнюю рези-

денцию, расположенную на высоком берегу Урала. Перовский любил это место больше других, потому что отсюда можно было обозревать и Европу и Азию одновременно: граница между двумя континентами проходила как раз по реке.

Перовский сидел на большой, застекленной с юга, от суши севе, веранде и курил кальян. Затягиваясь, он слушал, как через воду проходил табачный дым. Наконец Перовский уловил характерное бульканье воды и попробовал сделать губами похожее. Вышло удично.

Поднимаясь по широкой лестнице на второй этаж, Маслов услышал раскаты мощного губернаторского кивота.

Камердинер провел Маслова в большую белую комнату и скрылся за дверью, ведущей на веранду. Через мгновение он вернулся и предложил Маслову войти.

Не оглядываясь, губернатор поманил Маслова пальцем. Когда тот приблизился, Перовский обернулся.

— Слушай, — сказал он шепотом, — слушай же.

Маслов начал слушать. Лицо его стало донельзя серьезным. Голова склонилась набок, как будто левым ухом он слышал лучше, чем правым. Маслов чувствовал себя неловко. Он не знал, как сейчас следовало поступить: смеяться, как это делал до его прихода губернатор, или просто продолжать слушать, оставаясь серьезным.

Перовский, словно забыв о Маслове, пускал клубы дыма. Маслов рискнул и тихонько, чуть заметно, шажнул. Перовский отодвинул кальян и сделал губами непристойный звук. Маслов снова хихикнул, но теперь уже уверенней.

— Ты чему смеешься, полковник? — нахмурился губернатор. — Надо мной смеешься?

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство, что вы. Я просто восторгаюсь вашим умением пускать дымы из этого адова приспособления.

Перовский посмотрел на Маслова сощуренными глазами и покачал головой. Маслов подумал, что

сам он качает точно так же головой в том случае, если называет кого-либо из своих подчиненных «дубиной».

«Ай-яй-яй, — быстро подумал полковник. — Не угадал я. Плохо дело».

И он напустил на свое лицо непроницаемо-холодное выражение, которое так нравилось гражданскому губернатору. Именно, когда он сделал такое лицо, гражданский губернатор сказал ему: «Вы думающий человек, мось Маслов. Мне приятно бывать вдвоем с вами».

Маслов запомнил эти слова на всю жизнь и именно тогда начал было учить своих подчиненных «делать лица». Но ничего путного не вышло: Маслову рассказали, что ротмистра Поршнева за разучиванием лиц застала супруга и за это избила жестоко мужа, заподозрив его в неверности.

— Скажи мне, полковник, — после короткого молчания спросил губернатор, — что у тебя за ссыльный лях в Орске живет?

— Витковский?

— А я почему знаю! — пожал плечами Перовский.

Маслов чарующе улыбнулся:

— Ну, конечно, он, ваше высокопревосходительство. Он, он, больше там нет никого.

— Что скажешь о нем?

В считанные секунды Маслов должен был догадаться, какого ответа губернатор ждет, и решить, какой ответ надо дать, чтобы не попасть впросак.

— Не лучше ли мне, ваше высокопревосходительство, дать оценку Витковскому не моими словами, но материалами, на него собранными? — сманеврировал Маслов, ожидая, как разговор повернется дальше.

— А у тебя язык-то есть? Язык? — И, высунув свой красный, лопатой, язык, губернатор тронул его мизинцем.

— Он ссыльный, ваше высокопревосходительство, а это, по существу, определяет все.

— Не о том спрашиваю, полковник. Ты не финти, не финти.

— Как можно, ваше высокопревосходительство...

— В том-то и дело, что нельзя. Бунтовщик, вер-
но, а?

— Бунтовщик, ваше высокопревосходительство.

— Ваше высокопревосходительство бунтовщик?!

Маслов сконфузился.

— Что вы, помилуй бог, Василий Алексеевич!..

— Экий ты, право, — усмехнулся Перовский, и
вышел из кресла.

Обишел Маслова и, остановившись перед ним, по-
нижал воздух. Потом взял жандарма обеими руками
за плечу и, приблизив к себе, обнюхал полковничьи
волосы, обильно смоченные ароматною водою.

— Красив ты у меня. Для баб смертоносен. Ну
ступай, душа моя, ступай. Молодец, хитрый ты, мо-
лодец. А поляка мне этого доставь.

— Слушаюсь.

Когда дверь за Масловым закрылась, Перовский
улыбнулся и еще раз покачал головой.

3

Виткевича привезли из Орска поздним вечером.
До конца не поняв истинного смысла в губернатор-
ском интересе Витковским, кстати говоря, Виткеви-
чем, как выяснилось на поверку, Маслов хотел на
всякий случай посадить ссыльного на гауптвахту. Но
когда, наконец, после долгих раздумий полковник
пришел к этому решению, ему передали приказ губер-
натора. Перовский требовал доставить к нему ссыль-
ного немедленно.

Маслов посадил Виткевича рядом с собой в ко-
ляску, и они покатали в летнюю резиденцию. Тени
от громадных деревьев, изрезанные острыми бликами
луны, лежали вдоль дороги, похожие на языки чер-
ного пламени.

«Восемь лет промелькнуло, а словно день, — ду-
мал Иван, осторожно отодвигаясь от мягкого, теплого
плеча полковника. — Восемь лет. А чего добился за
эти годы? Устал. В двадцать два года — устал.»

Где-то далеко пели. Голоса нескольких мужиков,
сильные и низкие, то сливались в одно целое, то раз-

ламывались, мешая друг другу. Голоса улетали в небо и там замирали.

Ай, Урал-река,
Глубокая!

«И совсем не глубокая река, — поправил про себя Иван певцов. — Коварная река. Шаг сделаешь неосторожный — и в омут, к рыбе царевой, красной — на обед».

Белый лебедь плывет,
Расправляется.

«Расправляется... Только лететь-то куда? Некуда лететь. Все равно обратно вернется, коли осенью в полынье не замерзнет или лиса не пожрет».

— Приехали, вылезай, — сказал Маслов, первым выскочив из коляски, резко остановившейся около освещенного подъезда.

Точно так же, как и три дня назад, непонятно откуда выскочил камердинер и так же, как и в прошлый раз, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая, провел прибывших к губернатору, на веранду.

— Иди, — кивнул головой на дверь полковник, предлагая Ивану войти первым.

Иван вошел. Губернатор сидел в кресле и читал. В зыбком свете свечей он показался Виткевичу богатырем из киргизских сказок. Губернатор отложил книгу и шагнул навстречу вошедшим.

— Ну, здоров, поручик, — сказал Перовский.

— Я полковник, ваше превосходительство, — поправил его Маслов. — Полковник, а не поручик...

— А тебе-то здесь что надо, душа моя? Я не с тобой здороваюсь, а с Виткевичем.

— Но он же не поручик, он нижний чин, — попробовал исправить положение Маслов.

— Ах, боже мой, нижний чин! Ступай-ка, душа моя, домой, отдохни, а мы тут побеседуем. Иди, право...

Иван почувствовал, как в голове у него тонко-тонко зазвенело. Перовский, по-видимому, заметил, как сильно побледнел Виткевич. Он взял Ивана под руку и усадил в кресло.

«Как скрутило беднягу, — подумал Перовский. — Аж серый весь стал».

Когда Маслов вышел, Перовский пояснил:

— Глупость сносна только при отсутствии самолюбия. Но умничанье, соединенное с глупостью, производит смесь, невыносимую для моего желудка. А ты располагайся. Ты у меня в дому, а я хлебосолец. И, как россиянин истый, языком помолоть люблю.

Губернатор опустил в кресло напротив и глянул прямо в глаза Ивану. Серые глаза Виткевича сейчас сделались черными, оттого что расширились зрачки.

— Ну-ка, друг мой, скажи мне что-нибудь по-персизански, — весело попросил Перовский.

— Вазиха-йе авваль е-шома чемане дарад? *

— А по-киргизски?

— Сиз айтканныз, чынбы? **

— Ну, а по-афгански? Понимаешь?

— Альбата, пожежим ***.

— Молодец! — восхищенно произнес Перовский. — Просто слов нет, какой молодец! Только что это ты говорил тут? Может, ругал? Может, ослом меня обозвал?

Виткевич чуть усмехнулся.

— Нет, господин губернатор. Я просто спрашивал, что означают ваши первые слова, ко мне обращенные?

— Ты про поручика, что ль?

— Да.

Перовский прошелся по веранде. Остановился. Заложил руки за спину, начал раскачиваться с носков на пятки.

— С сегодняшнего дня ты офицер. Об этом я позабочусь. Я не шучу, нет. С этой минуты ты не только офицер. Ты — адъютант мой. И служить одному мне будешь. А это хорошо. Хорошо, потому что я умный. Умней других. Понял?

Виткевич молчал. Он научился молчать и слушать.

* Как понимать ваши первые слова? (перс.)

** То, что вы сказали, правда? (кирг.).

*** Конечно, понимаю (афг.).

— Понял, что ль? — переспросил губернатор.

— Да. Понял.

— Я, видишь ли, кальян курить полюбил. Не от причуды, нет. Изобретен он на Востоке. А коли я это изобретение потребляю, значит оно любопытно, так?

— Все ж таки от него кашель, — вставил Иван.

— А ты, брат, перец! — ухмыльнулся Перовский. Виткевич положительно пришелся ему по вкусу. — Чистый перец. Ну, молодец, молодец, я люблю таких. Да. Так вот, о чем бишь я? Изобретен кальян на Востоке. Так вот я и хочу с ними, с восточными людьми, за одним столом посидеть, кальян покурить. Вот я и хочу, чтобы ты меня с теми, с азиатами, поближе познакомил. Понять их хочу? А? Лихо? А? Чего молчишь?

— Какие обязанности мне вменяться будут?

— А я почему знаю? Сам выбирай! Сам. Что хочешь, то и вменяй.

Перовский прошелся по веранде и, остановившись за спиной Ивана, крикнул с такой силой, что даже в ушах заломило:

— И-эй!

Вошел камердинер.

— Портняжный мастер здесь? — спросил Перовский.

— Ожидает, Василий Алексеевич.

— Хорошо. Ступай.

Камердинер вышел.

— Иди к портному, Виткевич. В порядок себя приведи, офицеру приличествующий. О деньгах не тужи. Я плачу за тебя.

Иван поднялся, чтобы уйти. Перовский обнял его за плечи, подвел к балюстраде веранды и кивнул головой на Восток, за Урал.

— Азия, — тихо сказал губернатор.

Там полыхали зарницы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Сиденье в одиночном каземате вконец сломило Майера. Он перестал кричать и браниться сразу же после беседы с жандармом. После той памятной беседы он плакал и стонал. А потом стал тихим и задумчивым. Было замечено, что почти все время он отдавал молитвам. В перерывах между молитвами он сидел, неподвижно глядя в одну точку. И Майера перевели в каземат к Андрею Старикову. Мещанин ласково улыбнулся новому своему соседу и сказал:

— Ну и слава богу. Вдвоем — не одному.

Арестанты быстро подружились. Майер начал веселеть, молился меньше, а большую часть времени играл со Стариковым в щелчки по носу. Часто они беседовали о чем-то, спрятавшись в угол. Как ни пытались стражники узнать, о чем говорили арестанты, сделать им этого никак не удавалось. Только однажды, как раз перед тем днем, когда Стариков истребовал чернила, перо и бумагу, было услышано, как мещанин сказал Майеру:

— И тогда быть нам на свободе. Ничего, бог нас простит, мы свое уж приняли...

2

Всч

«Шефу Жандармов, командующему Императорскою Главною квартирою Господину генерал-адъютанту и кавалеру *графу Бенкендорфу*

от исправляющего должность Начальника VII округа корпуса Жандармов Полковника *Маслова.*

Содержащийся в г. Оренбурге под стражею в тюремном замке уфимский мещанин Андрей Стариков сделал по пересказу содержащегося с ним арестанта Военного Ведомства из польских уроженцев Майера

извет, будто находящиеся в Оренбурге поляки имеют намерение сделать бунт. О чем немедленно донесено было г. Военному Губернатору. По распоряжению Его Превосходительства составлена следственная комиссия и задержаны по подозрению следующие лица: Фома Зан, Адам Сузин, Иван Виткевич и несколько других. Имеющиеся у них бумаги и переписка схвачены. По получении о сем донесения с первою почтою имею честь представить Вашему Сиятельству».

3

Как и большинство людей, стоявших у власти, Перовский склонен был поначалу больше верить в плохое, нежели чем в хорошее. Тем более, если на этот раз плохое преподносилось ему не в беседе, не намеками игривыми, а бумагами, сшитыми в папку, на верхнем правом углу которой значилось: «VII округ Корпуса Жандармов».

Перовский раз шесть перечитал извет Старикова. Потом отложил от себя папку, придавил ее массивным прессом — тремя бронзовыми амурчиками — и задумался. Лицо у него собралось морщинами, глаза спрятались под нависшими, сведенными к переносью бровями. Мысли, обгоняя одна другую, сталкивались, мешали друг другу.

Любимец Иван Виткевич хотел вместе с остальными поляками гарнизон взбунтовать! Его, Перовского, казнить, всех казнить!

«Мерзавец! — думал губернатор, видя перед глазами лицо Ивана, его ладную, сухопарую фигуру. — Змея, которую на груди вскормил я. Жало высовывает! Каково, а?! Меня — убить?!» Все остальное казалось сейчас Перовскому менее значительным.

«Ах, мерзавец! — еще пуше распаялся губернатор. — В кандалы его, на рудники, соль копать. Да чтоб босиком!»

Перовский забарабанил пальцами по ручке кресла. «Одного не уразумею: какой ему смысл был на меня руку поднимать? Не я ли ему все дал? Не я ли ему

разрешал все? И я тоже дурак — он на меня с лаской глядит, а я и верю!»

У губернатора заняло сердце. Он подошел к окну, распахнул створки и начал дышать глубоко, с при- свистом. Боль стихла.

«А Зан? Фома Зан? Умница ведь. Ботаники классицирует; детей русских уму-разуму учит. Птичек собирает, бабочек разных. И меня за кумпанию с бабочками решил иголкой пришил. Но почему же, почему?!»

Перовский представил себе Виткевича и полковника Маслова рядом друг с другом. Враг — Виткевич. Друг — Маслов. Губернатор выругался, густо, забористо, как простой мужик. Значит, выходит, дураки друзьями приходятся, а умные — врагами!

— Эй! — крикнул Перовский.

Камердинер, кажется, стоял у дверей: так быстро он вошел в кабинет.

Перовский пристукнул бронзовыми амурами по извету и сказал:

— Из тюремного замка Виткевича ко мне. Срочно!

4

Виткевича арестовали дома, за работой. Когда ему зачитали постановление об аресте, подписанное собственноручно Перовским, Иван сделался белым как стена.

— Бумаги можно взять с собой? — только и спросил он.

— Мы побеспокоимся об этом, — заверили его жандармы.

Начался обыск. Вели обыск тщательно, вплоть до того, что вытаскивали цветы из горшков и протыкали спрессовавшуюся землю острыми иглами. Иван подумал удивленно: «Неужели специально для обысков этакие штуки придуманы?»

Спокойствие вернулось к нему как-то сразу. «Все этим должно было кончиться в нашей чудесной империи», — решил Иван, наблюдая за тем, как жандармы перетряхивали книги, рукописи, листы бумаги

и, просмотрев, бросали их к себе под ноги. Иван смотрел, как рукописи летели в воздухе, переворачивались, падали на пол, под сапоги жандармов. В грудь входила злость холодная и отчаянная. Он скривил губы.

В тюремном замке Иван обосновался словно в родном доме. Спокойствие, абсолютное, полное спокойствие, пришедшее к нему в начале обыска, сейчас стало его Руководителем, его Знаменем, его Спасением. Даже когда он попросил принести сюда, в каземат, чистую бумагу и чернила и ему в этом отказали, Иван только усмехнулся и, пожав плечами, начал спокойно и неторопливо расхаживать из угла в угол, как будто находился он не в тюремном замке, а в своем маленьком домике.

Так же спокойно Иван воспринял приказание собираться.

— Куда?

Жандармский ротмистр — Иван встречался с ним у Дая — ответил почтительно:

— К господину военному губернатору, мосье Виткевич.

— К губернатору? — переспросил Виткевич и задумался. — Нет, к губернатору я не поеду. Во всяком случае, своей волей не поеду.

Когда ротмистр доложил об этом губернатору, тот заскрипел зубами:

— Струсил! Струсил! Как заяц!

— Нет, — ответил ротмистр, поражаясь своей храбрости, — нет, ваше высокопревосходительство. Мосье Виткевич человек не робкого десятка.

5

Бонифаций Кживицкий был необычайно честолюбив. Не просто честолюбив, не так, как часто бывают честолюбивы представители человеческого рода, а особенно, болезненно. Он завидовал всему окружавшему его. Виткевича, после того как тот стал адъютантом губернатора, Кживицкий считал предателем поляков. Фому Зана, ссыльного польского студен-

та, преподававшего в Неплюевском училище и в свободное время собиравшего гербарии, он называл умалишенным. Алоизия Песляка, сосланного в солдаты вместе с Виткевичем по делу крожских гимназистов, спасшего из огня православного священника и семью его, он считал отщепенцем от святой католической веры. Красивый — он видел всех остальных людей соперниками внешности своей, хотя в Оренбургском крае Кживицкий по праву считался самым красивым мужчиной.

Неудивительно поэтому, что дочка казацкого атамана Петренко, Лукерья, влюбилась в Бонифация с первого взгляда. Девица крутого, казачьего норова, она так и сказала отцу:

— Если не разрешите нам, папенька, обвенчаться, сбегу из дому, и все тут.

Петренко знал свой норов и поэтому к словам любимой дочери отнесся с должным вниманием. В тот же день он вызвал к себе Кживицкого. Разговор их был кратким.

— Я тебе не надежда, — сказал атаман, — у самого у тебя голова есть, сам к своему счастью и бейся. Пока ты солдат — Лушка тебе не пара. Не отдам; под висячий замок посажу, а не отдам.

Бонифаций стоял ни жив ни мертв. «Чертова девка, дура, — думал он о своей возлюбленной. — Надо ж было ей! Теперь этот мужлан загонит куда-нибудь в степь. Дура девка, истинная русская дура».

— Дослужишься до первого чина — быть свадьбе, — пообещал Петренко и, встав со стула, подошел к двери. Посмотрел, нет ли кого. Понизив голос, продолжал: — Коли голова у тебя хорошо посажена, мотай на ус то, что я тебе сейчас открою. — Петренко взглянул на безусое, чистое девичье лицо Кживицкого и поправился. — Усов у тебя, к жалости, нет, так ты на бекленбарды намотай ту новость, что я тебе скажу. Третьего дня в Оренбурге твоих собратий польских за злодеяние, ими замышленное, схватили. Понял?

Бонифаций не понял. Мало ли кого схватили — какое ему до того дело?

— Может, ты из поляков из тех кого знал, чудо подводное?

— А кого там схватили?

— Слаб я на память-то, Фомазинова какого-то, Вит, Вет...

— Виткевича, наверное, — предположил Кживицкий.

— Во, во! Его самого! — обрадовался атаман. — Ты его знал, что ль?

— Мерзавец, — коротко бросил Кживицкий. — Он не поляк, он мерзавец.

— Это хорошо, коли так. Тут тебе и рассуждение: сможешь быть начальству полезным — значит, звезда засветит тебе. А это, мил-душа, звезда не простая, а особенная. Сча-астливая, — протяжно закончил Петренко.

Кживицкий, наконец, понял, чего от него хотят, и улыбнулся.

Получив донос от Кживицкого, в котором подробно говорилось о злодее Виткевиче и о всех тех гнусностях, кои хотел он свершить не только против господина военного губернатора, но и против его величества государя-императора, Перовский взял подмышку кальян, тот самый, что курил в день его первого разговора с Виткевичем, и поехал в тюремный замок. Выходя из дверей резиденции, он сказал камердинеру фразу, над которой тот потом долго бился:

— Если мало — может быть много. Но коли уж слишком много — так сие значит совсем мало.

С минуту они смотрели друг на друга молча. Потом Перовский сел, достал кремень и, не глядя на Ивана, принялся выбивать искру. Раскуривши сложный агрегат, он затянулся несколько раз, прислушался к бульканью, так успокоительно действовавшему на нервы, и только после этого взглянул на Ивана.

— Ну что ж, — сказал Перовский. — Проиграли партию, портупей-прапорщик Виткевич. Давайте теперь начистоту со мной. Открывайте карты.

Человеческий взгляд... В нем скрыто так много! Только вот беда — читать в нем возможно очень немногое.

— Что глядишь, Иван Викторович? — пожал плечами Перовский, стараясь скрыть непонятное чувство, охватившее его. — Что, в душу заглянуть хочешь? Смотри, может, что и увидишь. Только вот я у тебя увидеть ничего не могу. А это плохо. Плохо. Оттого что люблю я тебя.

Виткевич улыбнулся.

— Что смеешься? Не форси, героическую роль не разыгрывай. Да что ты?! — спросил вконец растерявшийся Перовский. — Что?

Виткевич продолжал улыбаться.

— Перестань, — попросил Перовский. — Перестань! — крикнул во второй раз. Кашлянул. Стал говорить тихо, без обычных своих прибауток. — Мальчишка, юнош... Ты понимаешь, что натворил? Ничего не понимаешь, оттого и улыбаешься. Думаешь, мне тебя жаль? Нет. Мне дело твое жаль. Вот он, свидетель, — губернатор ткнул пальцем в кальян, — он свидетель рассуждений наших с тобою обоюдных. Об Азии, Востоке... Кому ты, арестант, нужен? Ну, отпущу я тебя, пошлю обратно в Орск. Азия-то — тю-тю... Не могу же я тебя, как думал недавно, в Бухарию посылать...

Иван вздрогнул. Перовский сделал вид, что ничего не заметил. Продолжал задумчиво:

— Кто наукою целого рода интересуется, да еще такого рода, как восточного, тому заговорщические побрякушки ни к чему. Значит, не Восток у тебя на сердце, а одна юношеская глупость. Только для чего? В романтизмы играть? А вот Восток... России Восток, ох, как знать надобно! А кто помогать ей в этом будет, как не ты? Ты ведь России должник за то, что она тебя таким искусным восточником сделала. Не криви, не криви лик! На Маслова кивать нечего да на Новосильцева с Розеном! Я о России говорю.

Перовский замолчал. Потом он поднялся — высокий, сутулый — и, забыв кальян, пошел к двери. Виткевич услышал, как губернатор вздохнул. Он шел медленно. Очень медленно, как будто дожидаясь чего-то.

«Сейчас он уйдет, и все будет кончено, — подумал Иван. — Все и навсегда».

— Василий Алексеевич, — сказал Виткевич чужим, скрипучим голосом, — выслушайте меня.

Перовский остановился и, не оборачиваясь, бросил:

— Говори. Слушаю я.

— Неужели вы, ваше превосходительство, могли хоть на один миг допустить мысль, что я действительно задумывал хоть одно из приписываемых мне злодеяний?

— А почему же нет? — оживился Перовский. — Почему нет?

— Вы ведь знаете меня...

— Да кто тебя разберет, — снова потухнув, ответил Перовский, — вон в глаза тебе смотришь, а там словно льдинки.

— То не моя вина.

Перовский обернулся.

— Почему ко мне не приехал, когда звал?

— Потому, что я видел рескрипт о моем аресте, вами подписанный: я не знал, как расценить это. То ли все, что было раньше, игра занимательная, то ли... Со мной в жизни достаточно наигрались. Даже смертный приговор играючи объявляли, для излишней остротки. Если вы знали уверенность души моей в том, что киргизы и афганцы братья наши, то как же вы могли подумать, что я бунт готовил, преследуя интересы одной лишь польской нации? Я бы стал готовить бунт, но не как поляк, а как человек, против несправедливости выступающий. Независимо от того, кто творит несправедливость: белый ли, желтый ли цветом кожи, католик ли, христианин или мусульманин. Тиран в любом обличье тираном останется...

А вы говорите — меня романтизмы привлекают... — Иван перевел дух. — Вы говорите, что теперь

меня в Бухару пускать никак невозможно. Вывод для себя усматриваю: веры в меня нет. Чтобы к этому больше не возвращаться: я уже был в Бухаре. Попал там в руки английского резидента. И убежал от него, хотя сначала в Англию пробраться хотел, а оттуда уже в Польшу, чтобы с несправедливостью бороться... Но в степях, среди людей, среди азиатов, которые нам неизвестны, которых я полюбил всем сердцем, потому что они чисты, как дети, и умны, словно старики, — там я впервые по-настоящему понял, что все люди — братья. Там я понял, что нельзя одну нацию другой противопоставлять, поднимать над другими. И в этом, убежден я, великое мое счастье.

Я вернулся, горел мечтанием всего себя России отдать в том, что постигнуть сумел. Так нет же! У нас все в заговоры игры играют, а друзья наши английские тем временем на Востоке своими делами занимаются!

Виткевич, не замечая того, кричал, стоя во весь рост.

— Человеческому роду, — продолжал он, — свойственно изменяться с годами. Слава богу, вы меня от романтизмов от всяческих избавили, разрешив заниматься тем, о чем я мечтал. Вы вольны верить или нет — жизни мне своей не жаль, она и так уже довольно сломлена. Мне жаль дела моего, того дела, которое и вам важнейшим представляется. И делаю это дело я не потому, что особую пристрастность к письменам арабским имею. Я верю свято, что придет время, когда всевышний сведет все народы в великом братстве, в равенстве, в любви и согласии. И не будет тогда разницы между поляком и русским, киргизом и афганцем. Цель жизни моей — доказать, что люди Востока, к которым многие светские господа с барским пренебрежением относятся, что люди Востока — братья наши. Не образом мысли, так сердцем своим, человеческим сердцем.

Виткевич оборвал себя и закончил сухо, так как хотел сказать все:

— Еще раз считаю долгом повторить: вы вольны в своей вере.

Кживицкого привезли к губернатору пять жандармов с шашками наголо. Так возили только самых опасных преступников. Трое жандармов остались у дверей, а двое вошли вместе с Кживицким в кабинет.

Перовский был отменно любезен. Предложил садиться, осведомился о здоровье, повел веселый разговор. Все в лице губернатора дышало неподдельным весельем.

Кживицкий осмелел и спросил:

— Господин генерал, а за что меня в каземат?

Перовский рассмеялся:

— Будет вам, mon général...

— Кто?

— Перестаньте, генерал. Я прекрасно знаю, что вы считаетесь генералом у заговорщиков.

Кживицкий уставился на него, ничего не в состоянии понять.

— Будет, генерал, — продолжал сыпать словами Перовский. — Чтобы от себя отвести подозрения, бросаете нам кость, вернее — косточку: своего помощника Виткевича. Он во всем уже признался. Виткевич всего-навсего ваш помощник, генерал Кживицкий. Вся идея бунта — ваша идея. И двадцать тысяч серебром ведь вы передали Фоме Зану, а не Виткевич? И иглу тоже сделали сами, чтобы меня оною меж лопаток проткнуть...

Кживицкий затряс головой.

— Г-г-господин, г-господин...

— Будет, генерал, будет! — рявкнул Перовский. — Давайте без водевильных сцен! Давайте говорить, как генерал с генералом. Так будет вас достойнее. Если вы согласитесь вести разговор начистоту, я обещаю вам почетную смерть. В противном случае — повешение.

— Да нет же! — закричал Кживицкий и, повалившись с кресла на колени, прерывающимся голосом, глотая слезы, поведал Перовскому всю правду.

«...А посему следственная комиссия, соображая дело сие, нашла, что хотя мещанин Стариков донес со слов рядового Майера о злоумышленном заговоре некоторых из поляков; но они в том не сознались и по исследованию комиссии не открылось никаких обстоятельств, относящихся к их обвинению, почему 26 ноября определила: всех содержащихся по сему делу, кроме доносителя рядового Кживицкого, из-под караула освободить и употребить по-прежнему на службу.

Аудитор *Слапагузов*».

8

Вечером Виткевич зашел к Далю. Распахнув дверь кабинета, он остановился словно вкопанный. Рядом с Далем, около маленькой этажерки, сидел Пушкин. Позабыв все на свете, Виткевич бросился к поэту и с такой силой сжал его руку, что Александр Сергеевич даже поморщился от боли. Но в глазах у Ивана было столько счастья, что Пушкин, потеряв пальцы, улыбнулся и указал Виткевичу на стул рядом с собой.

Даль быстро ходил вдоль книжных полок и ловким, заученным движением доставал попеременно толстые фолианты и тоненькие томики. Книгу он держал осторожно и ласково на большой ладони. Даль знал все свои книги чуть не наизусть. Ивана изумляло его умение мгновенно отыскивать нужное место и, в который раз уже, очаровывала манера Даля читать найденное. Пушкин тоже заслушивался его чтением. Глаза у поэта делались большими, испуганными, словно у ребенка, ожидающего конца знакомой ему страшной сказки.

Виткевич никак не мог прийти в себя после столь неожиданного знакомства. Даль читал без устали, рассказывал свое, сыпал народными, солеными шутками.

Когда принесли чай, Даль спросил:

— Хочешь вкусного вина, Саша?

Виткевич поразился этому простому и обыденному имени: «Саша». Но в устах Даля, обращенное

к Пушкину, оно показалось Ивану особенным, совершенно новым, исполненным необычайной ласковости.

— Спасибо, Володя, — ответил Пушкин, — не хочу. В горле курлыхтает.

— Не курлыхтает, а кургыхтает, — поправил его Даль, — но это плохое слово, неинтересное. Оно от птиц идет и от кошек. А я отчего-то кошек любовью не жалую.

Пушкин почесал кончик носа — широкого, чуть загнутого книзу.

— Молчу, молчу, с тобой в этом — спору нет.

Сели пить чай. Пушкину понравились голубые прозрачного фарфора чашки. Ручки гнуты наподобие девичьего бедра, рисунок такой тонкий, что пить из них казалось кощунством. Пушкин глотнул чаю, обжегся, сердито нахмурился, высунул язык и долго студил его.

— Кожа теперь лезть будет, — огорченно заметил он, — страсть как неприятно.

— Надо сметаной помазать, — предложил Даль.

— Или пятак приложить, — пошутил Пушкин, — словно к синяку.

Обернулся к Виткевичу и спросил:

— А вы, говорят, лучший в России знаток Востока?

— Да что вы, Александр Сергеевич! — изумился Виткевич.

— Знаток, знаток, — кивнул головой Даль, — самый настоящий.

Пушкин подвинулся к Ивану и спросил:

— А ночью в пустыне страшно?

— Ежели один — так не очень.

Пушкин недоуменно посмотрел на Даля.

— Что-то не понимаю. Как это, один — и не страшно?

— Когда бежишь от людей, так одному лучше, Александр Сергеевич.

— А вы убегали?

— Ненадолго.

— Почему же ненадолго? Если бежать — так навсегда. Верно, Володя?

— Не знаю, не бегал, — улыбнулся Даль, — лучше его спроси.

— Верно я говорю, Виткевич?

— Избави бог навсегда убежать, Александр Сергеевич. Тоска уьёт.

— А в песках очень тоскливо?

Виткевич вдруг рассмеялся. Пушкин обиженно отодвинулся. Потом вдруг лицо его из обиженного сделалось озорным, веселым.

— Я ведь не бегал, не знаю. А узнать необычайно интересно. Профессия такая — узнавать... И потом невыдуманное всегда интереснее вымысла, пусть даже самого увлекательного. Единственное исключение — сказки. Но сказку выдумывает не литератор — народ. А то, что создает народ, всегда великолепно.

— Люди Востока очень любят сказки, Александр Сергеевич. Я и ваши сказки киргизам и узбекам рассказывал. И, знаете, огромным успехом сказки пользовались.

Пушкин гордо посмотрел на Даля. Тот с доброй улыбкой — на Виткевича. Все враз рассмеялись.

— Что-то я в Азии у вас развеселился, — сказал Пушкин, — тут ветры волею дышат. Здесь Россию с обратной стороны видно. Кому как, а мне она отсель милее, чем с фасадов невских. Я тут музыку во всем слышу... Скажите, Виткевич, — спросил он, помолчав, — а восточные сказки на наши похожи? В манере сказывать их, в сюжетах?

— Я могу рассказать некоторые, Александр Сергеевич. Если пожелаете...

Пушкин сразу же приготовился слушать. Закинул ногу на ногу, оперся подбородком на кулак, прищурил глаза.

— Я расскажу маленькие сказки, хикаяты, как их называют таджики, персы и афганцы.

— Это что, вроде наших пословиц? — спросил Пушкин.

— Не совсем. Вот послушайте. Пришел раз человек к писцу. «Напиши мне письмо», — попросил. «Не могу, — ответил писец, — у меня нога болит». — «Ты что ж, ногой пишешь?» — «Да нет! Но все, кому я пи-

шу, требуют, чтобы я сам пришел и прочел, что написано».

Пушкин рассмеялся.

— Чудесно! Просто чудесно! Еще, пожалуйста.

— Сидел однажды поэт, бедный, как и все поэты, рядом с жирным богачом. Спросил богач поэта, желая унизить: «Скажи мне, что отделяет тебя от осла?» Поэт измерил расстояние между собою и богачом и ответил: «Совсем немного. Один аршин».

Пушкин вскочил со стула, захолопал в ладоши.

Виткевич рассказывал сказки часа два, не меньше.

— Скажите, — спросил Пушкин, вдоволь насмеявшись, — а стихи? Стихи у них так же интересны?

— Да. Если не больше.

— Прочитайте, прошу вас.

— Хорошо. Я прочту стихи афганского поэта Казем-хана.

Вы меня же толкали в костер,
Дав соперникам выжать меня,
И когда я вас вел на простор,
Вы хотели быть выше меня,
А когда я по вашей вине
Сам в огонь обратился в огне, —
Мотыльками слетаясь ко мне,
Ненаввидите вы же меня!

— Боже мой, какая прелесть, — сказал Пушкин.

— Еще два стихотворения Казема, — улыбнулся Иван, обрадовавшись тому, что Пушкин так заинтересовался афганскими поэтами.

О Шейста! Разве мудрость трудна?
Научись ты у солнца любить!
Цель одна и дорога одна —
Все блужданья нам впору забыть.
И не льсти, о Шейста, никому,
Слава сердцу и слава уму,
Если учат они одному:
Научись ты у солнца любить!

Мудрецу не нужна мишура,
Не прельстился фольгой золотой!
Для невежды и кукла мудра,
И зовет он ее — Красотой.

Сколько горя глупец перенес,
Принимающий куклы всерьез!
А мудрец потому-то и рос —
Не прельстился фольгой золотой.

Пушкин вытер слезы. Он долго молчал и качал головой, не открывая глаз.

— Это творения гения, Виткевич. Как же мало мы знаем! И как много есть такого, что мы должны знать! Спасибо вам, Виткевич. Теперь я буду вас всю жизнь помнить и волноваться за вас. Нет, не только за вас лично — за то чудесное дело, которому вы отдаете жизнь. Я хочу вам дать совет. Мне кажется, что ваше будущее — это будущее дипломата. Опасайтесь, Виткевич, опасайтесь! Вами будут расплачиваться, словно звонкой монетой: «Смотрите, какие мы! Как наши дипломаты Восток знают!» Но вспомните Грибоедова — правители умеют делать политическую игру кровью людской. Не это главное. Главное, чтобы человек не был подобен планете. По-гречески слово «планета» означает «бродяга». Человек творчества должен всего себя посвятить только одному делу. В творчестве планетой быть нельзя: светит, а не греет. Труд возвышает людей, служба портит. Чиновником в искусстве быть — почет малый...

— Александр Сергеевич, но мне не удастся изучать язык афганцев, узбеков и киргизов, если я не буду хотя бы внешне служить. Ведь не пустят меня на Восток просто так, для науки, литературы, истории...

Пушкин вздохнул. Развел руками и с горькой усмешкой переглянулся с Далем.

— Да, пожалуй, вы правы. Меня вот тоже никуда не пускают. Никак не пускают. По головке гладят да нежности словесные расточают... Ладно, будет об этом. Я вас хочу попросить как можно больше сказок и стихов собрать. Для меня, для «Современника». А потом подумаем — издадим альманах стихов и сказок народов восточных. Великолепно это может получиться! А сейчас почитайте-ка мне еще афганцев...

Виткевич провожал Пушкина к дому губернатора. Ночь была темная, безлунная. Уже около самого дома Пушкин резко остановился, потянул Виткевича за рукав и прошептал ему в ухо:

— А если новый Пугач объявится, вы с ним пойдете?

— Пошел бы, — ответил Иван твердо.

Пушкин сморщил лоб, сухо, отрывисто бросил:

— Прощайте, Виткевич.

Потом он сжал руку Ивана повыше локтя, хотел что-то сказать, но не сказал. Ушел. Растворился в ночи, как будто и не было его рядом.

9

Особенным уважением к Перовскому Иван проникся в тот день, когда, дежуря в приемной у губернатора, выполнил чисто техническую работу: написал под диктовку Василия Алексеевича обыкновенное письмо, вернее даже ответ на депешу от нижегородского военного губернатора Буторена. Перовский вскрыл пакет, молча прочитал письмо, чертыхнулся и передал Ивану лист бумаги.

— Прочти, Иван Викторыч.

Виткевич прочел:

«Господину Оренбургскому Военному Губернатору.

Санкт-Петербургский Обер-полицмейстер, от 20 минувшего сентября № 264 уведомил меня, что по Высочайше утвержденному положению Государственного Совета, объявленному предместнику его предписанием Г. Санкт-Петербургского Военного Генерал-Губернатора от 19 августа 1828 года № 211, был учрежден в Столице секретный полицейский надзор за образом жизни и поведением известного поэта, титулярного советника Пушкина, который 14 сентября выбыл в имение его, состоящее в Нижегородской губернии.

Известясь, что он, Пушкин, намерен был отправиться из здешней в Казанскую и Оренбургскую гу-

бернии, я долгом считаю о вышеписанном известить Ваше Превосходительство, покорнейше прося, в случае прибывания его в Оренбургскую губернию, учинить надлежащее распоряжение об учреждении, во время пребывания в оной, секретного полицейского надзора, за образом жизни и поведением его.

Военный губернатор *Буторен*».

— Каково? — спросил Перовский, когда Виткевич кончил читать. — Позорище истинное! Спрячька бумагу эту подальше, чтоб потомки, спаси господи, не обнаружили ненароком... Бери перо, мы им сейчас отпишем.

Иван приготовился писать. Перовский походил по комнате, а потом выкрикнул:

— Пиши! Буторену!

— Просто Буторену?

— Просто так и пиши: Буторену!

«*Буторену*».

На отношение Вашего Пр-ва от 9 сего октября № 337 об учреждении секретного полицейского надзора за поведением и образом жизни Титулярного Советника Пушкина во время пребывания его в Оренбургской Губернии, честь имею ответить, что сие отношение Ваше получено мною через месяц по отбытии отсюда г-на Пушкина в свою деревню Нижегородской губернии, а потому, хотя во время кратковременного пребывания его в Оренбурге и не было за ним полицейского надзора, но как он оставался в моем доме, то я тем лучше могу удовлетворить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий».

Когда Иван кончил писать, Перовский бегло просмотрел лист, буркнул под нос:

— С-сукины сыны!

Подписал размашисто, зло, Иван с улыбкой по-смотрел на губернатора. Перовский рассердился:

— Не смотри так! Мне самому тошно: я русский, понимаешь? А на своего Гомера этакие штуки писать приходится. Неужто у всех Гомеров одна судьба — под надзором ходить?

✓ 10

Поздняя осень в Оренбурге полна грустного очарования. Густые перелески, саженные вдоль по Уралу, растеряв последнюю золотую листву, сделались прозрачными. Воздух в них был необычайно светлым из-за того, что намокшие стволы деревьев казались черно-синими.

Закаты разливались по низкому серому небу тяжело, кроваво. Лениво шумел мелкий дождь в водосточных трубах. По ночам вода в бочках подергивалась хрупким ледком.

Как никогда остро Иван переживал все прошедшие тяжкие годы в те вечера, когда заходил к Алябьеву. В прошлом блестящий гвардейский офицер, а ныне ссыльный, он жил в Оренбурге незаметно и тихо. Все дни Алябьев проводил за разбитым, древним роялем, крашенным белой масляной краской, для того чтобы скрыть трещины и царапины. Алябьев сочинял музыку.

По вечерам у него собирались друзья: Даль, Виткевич, преподаватель ботаники в Неплюевском кадетском корпусе ссыльный поляк Фома Зан, и — редко — навещался Перовский. Приезжал он к Алябьеву примерно раза два в полгода. Садился около рояля, молча, тяжело слушал музыку и уезжал не прощаясь. После посещений композитора Перовский делался хмурым и дня три писал длинные письма, больше похожие на исповедь, своему брату-писателю, который прятал свою родовитую фамилию под незаметным псевдонимом «Погорелец».

...Алябьев любил петь. Голос у него был низкий, широкий. Он слегка картавил, стыдился этого и подчас глотал слова, где попадалась буква «р». Когда Алябьев пел, большие глаза его под толстыми стек-

лами очков делались блестящими, а зрочки расширялись, придавая глазам растерянное, испуганное выражение.

Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей!
Ты куда, куда летишь,
Где всю ночь пропоешь?
Ты лети, мой соловей,
Хоть за тридевять земель,
Хоть за синие моря,
На чужие берега,
Побывай во всех странах,
В деревнях и городах:
Не найти тебе нигде
Горемышнее меня...

Даль, слушая Алябьева, не мог скрыть слез. Виткевич, обхватив голову, раскачивался в такт песне и шевелил губами, неслышно подпевая Алябьеву. Фома Зан, считавший музыку проявлением дворянской, шляхетской избалованности, просто-напросто наблюдал за всеми, всех любя и всем втайне поклоняясь.

В день осенний на груди
Крупный жемчуг потускнел,
В зимнюю ночь на руке
Распаялося кольцо,
А как нынешней весной
Разлюбил меня милый...

Кончив петь, Алябьев продолжал сидеть у рояля и долго не поднимал рук с клавишей, сохраняя тонкий, затухающий звук. Звук умирал неслышно, медленно, словно летний вечер, и так же красиво.

— Прав был страдалец, — задумчиво сказал Алябьев, — прав был, когда утверждал, что знающий русскую народную песню видит в ней скорбь душевную.

— Кто этот страдалец? — спросил Иван.

Алябьев не ответил.

— Радищев, — негромко сказал Даль, нахмурившись.

— Даль все знает, — усмехнулся Алябьев, —

он умный, он счастливый, ему звезда светит, его губернатор любит.

Владимир Иванович поморщился, но смолчал: он знал, как тяжело Алябьеву, безвинно осужденному, всеми отвергнутому. Он прощал Алябьеву грубости, так же как Перовский — Виткевичу.

— А мне, признаться, порой веселой песни хочется, — сказал Даль, желая изменить разговор, — осенью тяжелые песни грустно слушать.

— В России веселых песен нет, — заметил Алябьев. — Я вот тут намерен записывать новые песни — все, словно на подбор, грустны и раздумчивы. Спросил я тогда ту бабу, что мне их певала: «А веселей у тебя нету?» Она ответила: «Веселое с веселого поется. А у нас на свадьбу да на рождение то же, что и на смерть, поют. Оттого как жена да дите — камень на шее кормильцу. Коль нет в жизни веселого — так уж веселей ничего не выдумаешь...»

Алябьев обвел взглядом друзей. Рассмеялся. Запел:

Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман,
Слезы горькие льет молодец,
На свой бархатный кафтан.

«Полно, брат, молодец!
Ты ведь не девица:
Пей, тоска пройдет,
Пей, пей! Тоска пройдет!»

Захлопнув крышку рояля, Алябьев поднялся с низенького, скрипучего стула. Обернулся к Виткевичу и спросил:

— Иван Викторович, вы мне обещали новые киргизские песни перевести. Сделали?

— Да.

— Так же интересно, как и в прошлый раз?

— Да.

Фома Зан рассмеялся:

— Вот этого увлечения, Александр Александрович, я не понимаю. Виткевич бредит киргизами — сие понятно: ему другой судьбы нет, он себя Востоку посвятил. Но вы ж музыкант!

Алябьев ничего не ответил. Снял со стены гитару, прижался щекой к деке, тронул струны и запел:

О-о-о, длинный путь караван идет...
Много дней, много звезд позади,
Впереди лишь одни пески
И кругом лишь одни пески...
Сколько раз я мечтал о тебе,
О глазах твоих и руках,
Сколько дней я иду от тебя,
Чтоб прийти к тебе навсегда...

— Ну, разве не чудо, Зан? — вдруг, оборвав струну, спросил Алябьев. — Вот вам киргизы, вот вам Виткевич!

— Это очень красиво, — сказал Даль, — это изумительно!

— Сколько простора в этом, сколько грусти, ожидания! Сколь чутка душа певца, сложившего эти строки! — говорил Алябьев, сидя рядом с Иваном.

Виткевич счастливо улыбался: его понимали друзья.

Иван любил заходить к Алябьеву по утрам, когда тот, не умывшись, в халате, сидел за роялем, обрабатывая песни башкир, киргизов, таджиков. Виткевич любовался тем, как Алябьев находил в разрозненной, не сбитой в одно целое песне тонкую удивительную мелодию. Он ловил эту мелодию и заставлял ее звучать. И в песне, которую заново рождал композитор, Иван видел то, что ему довелось уже пережить, и чувствовал то, что пережить ему еще придется...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Обманчива здешняя погода. Вчера еще в теплом воздухе искрилась паутинка, словно прозрачная шаль на прекрасном лице поздней осени. А сегодня подул ветер и вместе с шалью красно-желтыми листьями принес снег, острый и колючий. И пошла сыпать белая пороша на потрескавшуюся от летней жары землю. Потом хлестнул последний дождь, прихватило